

Б.В. Шергин

## Слово о Ломоносове

Ум веселится, вспоминая Ломоносова. Радует мысль, соглядая его жизнь и дела. Любо говорить о Ломоносове, и если я скажу звягливо и рогато, ты Расскажи чиновно, с церемонией.

Кого любишь, о том думаешь, за тем и ходишь глазами ума... Вижу Михайлушку Ломоносова юнгой-зуйком на отцовском судне... Двинская губа только что располонилась ото льда. Промысловые лодьи идут в море. Многопарусная «Чайка» Ломоносовых обгоняет всех. Михайло стоит на корме и дразнит лодейщиков, протягивая им конец корабельного каната — нате, мол, на буксир возьму. Лодейщики ругаются, а Михайло шапкой машет: «До свиданья, дожидаться недосуг!»

Пока жива была маменька-потаковщица, со слезами покидал родной дом.

С годами «маменькин запáзушник» втянулся в морскую жизнь. Его уму, остроумию, живому, пытливному, все вокруг казалось чудным и дивным. Сколько спит, столько молчит.

— Татка, у солнца свет самородный?

— На солнце риза царская и корона. То и светит.

— А звезды? Маменька сказывала: лампы ангельские!..

— Ну да! Звезда бы на Холмогоры пала, весь бы город покрыла!

— А молния?

— Это бог тянет лук крепко и стреляет метко. Где увидишь дерево или камень, грозой обожженные, там в песках стрелку ищи.

— А край земли близко ли? А почто немцы говорят несходно с нами?

— Ужо в грамоту тебя отдам учиться. Там толкуй, что откуль. Порато ты у меня любопытен!

— Ну и сын у тебя, Василий Дорофеевич! – дивился сельский дьячок. – Сколько учиться, друга-столько меня учит. Неладно-де называть «собака», надо — «солбака». Бог-де человека создал, и не понравилось, что лоб велик... Лишек от лба отнял и в том собаку сделал. Потому собака и умна, что со лба... Филолог!!

— Ну и парень! – вторили монахи архиерейского подворья. – Принесли владыке книгу древлеписьменную для справок. Он поглядел и очки бросил: «Витиевато и узорно, а нечетко...» А Миша зачитал, будто с парусом по ветру побежал. И кряду вопрошает: «Владыка, куда солнце заходит?» Ну, тот пояснил, что в окиян-де — умыться, чтобы лучи просветить.

Годы шли. Михайло перечитал все церковные книги, что были под рукой. Многое выучил наизусть. В особенности очаровала его Псалтырь в стихах Симеона Полоцкого.

Михайло терял сон и еду, пока не получал на руки какой-нибудь полюбившейся книги. Вот он узнает, что за рекой, в доме Дудиных, есть две книги по новой мудрости. «Как свеча я теплился перед старым идолом Дудиным, – рассказывает сам Ломоносов. – Помер, а не дал. В воду я совался ради этих книг пред наследниками Дудиными и, наконец, получил в вечное владение. «Арифметика» Магницкого и «Грамматика» Смотрицкого, печати 1645 года, то были врата учености моей... У мужиков разговор: «почем хлеб да почем рыба»; у баб: «кто где женился, богату ли взял». А книга моя беседует мне: «Разумей читать книгу природы, живую грамоту. Подивися, как из малого семени вырастает великий дуб. Поразмысли чудное устройство тела твоего: глаз, орган тончайший хрупкого стекла, безопасно прибран в чашку костяную. И ресницами от пыли загорожен; и бровями от поту со лба защищен».

Новые мысли, новые вопросы рождались в молодом уме. Бывая с отцом в Архангельске, где жило много иностранцев, Михайло начал пытаться у многограмотных людей,

нет ли таких книг, где бы протолковано было о дубах и семенах, о звездах и о теле человека. Городские грамотеи отвечали, что о звездах и о небе трактует наука астрология, а человеческим телом ведаёт антропология купно с медициною. Сия последняя знает и о растениях. Потому что «всяк злак на пользу человека...», кроме табаку... Науки эти все заморские, изложены латинским языком.

— Латинскому языку где учат?

— В Москве, в Славяно-греко-латинской академии. Принимают детей дворянского и духовного звания. Тебе, крестьянскому сыну, латыни не нюхать...

— Ну... Сей день не без завтра...

Михайлушко любил природу и очень радовался, что цветы, и травы, и деревья — это не только сено и дрова, но и наука этим занимается.

Недалеко от Холмогор, в деревне Вавчуге, крестьяне исстари занимались постройкою морских судов. Здесь Михайло узнал, что и корабли бегучие строятся, и мельницы стоячие ходят, и материна самопрялка кружится не так просто, а по законам науки — механики и физики. Юноша пристрастился делать модели кораблей и мельниц, придумал хитрые замки к амбару и житнице, смастерил стенные часы с боем. Это увлечение сменилось страстью к стихотворству по правилам грамматики Смотрицкого и по образцам старинного поэта Полоцкого.

Отец, занятый промысловыми заботами и расчетами, а затем постройкою каменного собора на селе, сквозь пальцы смотрел на «игрушки» сына:

— Слава богу, достаток имею, могу позволить единственному сыну и побаловаться. Остарею, все на него опрокинется, не до книг будет...

Во всем покрывала детище и маменька-потаковщица. Но вот... «маменька родимая, свеча неугасимая, горела, да растаяла. Жалела, да оставила»... Василий Дорофеевич женился на другой. Мачеха, как зверь, оцетинилась на Михайловы книги и бумаги. Юноша стал прятаться по соседям, читать ночью в бане, при свете лучины. Мачеха ругалась, рот не запирала. Налетала и на мужа:

— Вырастил книжника, еретика! Целу зиму на книге лежит! Ни по воду, ни по дрова... Дармоедина!

— Пошто дармоедина?! Он на промыслах пособляет радетельно! А за книги его два игумена о празднике хвалили.

— Вот! Они его и сманят в пустыню. Они на дешево лакомы. А татенька-родитель посиди без работника... Поил-кормил двадцать лет...

— Михайло не в попы... Он цифирь, рихметику каку-то выкладывает...

— Вот! Я и говорю! Пойдет ли банна жихоня в попы?! Ночью в бане сидит, по книге волхвует... Оборотень!

Наедине отец пенял сыну:

— Горе на меня твоя грамота! Она попам нужна, чтобы в службах не сбиться. А деловому человеку при здоровом уме и твердой памяти грамота все одно что костыли при здоровых ногах. Я неграмотен, да памятен, и в голове все управление содержу — морское, и береговое, и домашнее. На умах рассчитаю краше, нежели пером на бумаге.

— Татенька! А все господа многограмотны.

— Ври больше! На что благородному господину читать да писать самому?! Он писца да чтеца нанять может. Все равно как «Иван, сошей башмаки! Марья, пеки пироги!..»

Михайле исполнилось девятнадцать лет, Управя морские промыслы, осенью тысяча семьсот тридцатого года он упал отцу в ноги:

— Государь мой татенька, Василий Дорофеевич, пусти в Москву учиться!

У отца сердце озябло и ноги задрожали:

— Люди меня давно ума доводили и мне говорили: сын взгляду отцова должен бояться, от взгляда с ног падать, а у вас-де с сыном дружба-приятство... Добра-де не жди. Так и вышло: думал с сыном век вековать, а приходит: век горевать.

— Татенька! Ужели ты произволяешь детишу своему лучше быть враг, нежели друг?

— Как это враг? А для кого я потом кровавым дом и все богатство наживал? Для тебя! Кому оставлю? Тебе!.. Миша! Погляди-ко, руки-те отцовы... как крюки!.. Сколько я на веку работы унес!.. Ужели отцовы труды людям под ноги бросишь?..

— Татенька Василий Дорофеевич! Я с божьей помощью вознамерился шире да выше свой жизненный полет упредить... Татенька, государь, благослови в Москву учиться...

— Ну, сын... Воля твоя... Люди-те, люди-те что скажут: «У Василия Дорофеевича сын по миру пошел, скитаться...»

— Татенька, не плачь!.. Воля твоя...

— Нет, сын! Ты с отца волю снял!..

Той же зимы Михайло ушел из дому. Мимо шел на Москву рыбный обоз. Миша и ушел с обозом. Снес на себе шубу, да кафтан, да три рубля денег.

...Буря-непогодушка унесла его с родной сторонюшки. В архиве холмогорского воеводы сохранился документ: «7-го декабря 1730 года с дозволения отца своего отпущен к Москве Михайло Васильев сын Ломоносов, о чем выдан ему паспорт».

С помощью обозников Михайло отыскал в Москве рыбного старосту, холмогорца. Земляк, выслушав юношу, умилился и прослезился:

— Неслыханно! Отрок, из одной токмо жажды знания, презирая тысячи препятствий, за тысячу верст бежит в Москву учиться!..

Славяно-греко-латинская академия учреждена была еще в XVII веке при Заиконоспасском, что на Никольской улице, монастыре. Сюда земляк и привел Михайла. Удивился и отец архимандрит, ректор академии:

— Преудивленно! У нас ребята от учения, как от заразы, бегают. Дубьем не можем приневолить, а этот ради наук с Белого моря прибежал!.. Податное сословие не препятствие: несть правила без исключений.

Принятый в Спасские школы, как называли в Москве академию, Михайло ног под собой не чуял от радости. Ежели по доме какая слеза катилась, та назад воротилась. Низшие классы он прошел в один год. Через год умел уже сочинять латинские вирши — стихи. Латынь была тогда преддверием всех наук. Сочинения писались по-латыни. Михайло быстро одолевал класс за классом. Был первым в богословии и в философии, в красноречии и в поэзии. Но в Москве не оказалось тех наук, ради которых он сюда прибежал. Ни физика, ни механика, ни астрономия, ни иные науки, объясняющие природу и ее явления, в школе не преподавались.

Конечно, пытливый и живой ум везде находил себе пищу. Библиотекарь и ключ отдал ревностному любителю наук: «Начитаешься, дак закрой! А я ужинать да спать!..»

Между тем житье-бытье в школе было скудное и суровое. Пища грубая; посты строгие: кроме хлеба звено рыбы, чаша квасу... А дома у отца нищим пирогами подавали... Холмогорцы-обозники ежегодно привозили письма от отца. Отец звал домой неотступно: «Воротись, дитя! Я остарел... на кого брошу дом и промыслы, нажитые потом кровавым... Воротись, дитя! Лучшие люди отдадут за тебя своих дочерей...»

Сытой, богатой жизнью соблазнял отец, а сын, хотя и хлеба от обеда к ужину не оставалось, наук не бросил. Еще пасмурно, неясно, неустроенно было все вокруг, но в туманных далях житейского моря ярко и призывно светил свет науки. Туда, не оглядываясь, управлял Михайло корабль своей жизни.

Отец ректор однажды, положив иссохшую десницу на Михайлины соломенные кудри, сказал:

— Преуспевай, остроумец, я на тебя надеюсь!.. Однако наш остроумец, как ни старался, не мог выжать из славяно-греко-латинских фолиантов никаких любезных сердцу сведений по физике, естествознанию, математике. До Михайла доходили слухи, что

«в Европах новые науки давно пришли в явление. Для физикус и химикус сфундованы стеклянные палаты...». Об Европах мечтать было нечего, но Михайло начал собирать сведения насчет Петербургской академии. Питерских затей в Москве не признавали, и отец ректор, сделав скучное лицо, говорил: «Академия основана там без году неделя. Петр Алексеевич опару поставил, да тесто что-то худо подымается... Сидят, надувшись, немецкие и шведские персоны. При них университет сущие казармы: семеро капралов при одном рядовом. Советую тебе в рассуждении наук опробовать Киев. Там учреждено иное и на польский образец, во вкусе новых времен... Благословляю тебя на годичное там пребывание...»

Как пчела за медом, полетел Михайло в Киев. Но оказалась верна присказка: «Жернова говорят — в Киеве лучше, в Киеве лучше, а ступа говорит — што тут, што там; што тут, што там!..»

Киевская школа отличалась от московской только тем, что была старше лет на сотню, книги здесь были толще да мантии у профессор-монахов длиннее. И читали они студентам из века в век одну и ту же славяно-греко-латинскую премудрость. Точных новых наук наш взыскатель и здесь не нашел. Воротился в Москву раньше срока.

Пребывание в московской и киевской школах было для будущего ученого и поэта драгоценно в тех отношениях, что он великолепно усвоил здесь языки и литературы греческую и римскую, изучил классическую философию и логику.

Философия содержит начала всех наук. Логика учит правильно мыслить. И во всех сочинениях Ломоносова, которые он потом написал по разным отраслям знания, поражает нас отчетливость, стройность и последовательность мысли. Этому научился он в Москве.

А в Москву наш непоседа поторопился не напрасно. Здесь поджидала радость. Как достойнейшего, начальство избрало его к отправке в Петербург, в новооткрытую гимназию.

Петербургская академия наук и при ней университет с гимназией были основаны Петром Первым для распространения и умножения в России нового образования. Ученых для академии Петр набрал за границей, но с набором учеников дело худо клеилось. Наконец в столичную школу были вытребованы лучшие студенты из Москвы. Ломоносова ректор аттестовал как «юношу чрезвычайного остроумия».

Со всяким желанием, со всею охотою устремился Михайло в столицу. Здесь надеялся найти новых учителей, новые науки. Приглашенные в Россию распространять новейшее образование немецкие профессора палец о палец не колотили в этом деле. Однако наш Михайлушко ликует. Дорвался до физики, до геометрии, до математики!.. Нох ейнмаль, еще раз погодите радоваться, молодой человек! Преподаватели приехали в Россию «один десяток лет назад», и они не успели выучить «ни один русский слов...».

Учителю наплевать, что его не понимает ученик, а ребятам больше, что ли, надо!.. «Вас ис дас?..— кислый квас» — и все тут.

Но, оказалось, «на Руси не все караси, есть и ерши». Не смыслит учитель, с чего надо начать, но смыслит ученик Ломоносов. Учебники написаны по-немецки: Михайло сам их переводит ночами, сидя за словарем. Мало-помалу становятся понятнее и разглагольствования немца-профессора на кафедре. Ближе и желанные науки. Нет худа без добра! Скупой немец посадил золотую рыбку науки у себя в пруду. Разумный ученик немецкою же сетью уловил эту рыбку и унес домой на развод.

Пословка говорит: «Не родись умен, а родись счастлив». Видно, Михайлушко родился и умен и счастлив. Уж несколько лет правительство отыскивало подходящих, знающих людей для научно-приисковой экспедиции в Сибирь. Не было химика, понимающего горное дело. Единственный знаток горного дела, профессор Генкель во Фрейберге, в Германии, посоветовал: «Не волочите делом, искавши. А пошлите ко мне академического студента, посмышленее. Я обучу горному делу и металлургии. То вам будет свое добро — дома».

Михайла Ломоносова из смысленных не выкинешь. Он и поплыл за границу... Что там поплыл: на крыльях полетел! Это случилось в 1736 году.

Но для поступления к Генкелю требовалось совершенное знание математики, физики, механики. Поэтому академия предписала Ломоносову сначала прослушать лекции знаменитого физика Вольфа в городе Марбурге. Вольфа за дельные советы отличал еще Петр Первый. Внимательно отнесся Вольф и к русскому студенту. Не только обучал, но и следил за поведением, выдавал содержание, присылаемое из Петербурга.

И вот Ломоносов, будто к источнику живой воды, припал наконец к тем наукам, к тому знанию, которого с детства взыскивал алчно и жадно.

— Студиозус из России есть горячего сложения. Ум живой и схватчивый... — определяет новичка Вольф.

За опытами в лабораториях физической и химической студиозус наш проводит дни и ночи: «добрался Макар до опары»... «В часы же отдыха несытая душа моя, аки земля безводная, упивается литературою и языком французским, литературою и языком немецким, купно итальянским, и английским, и гишпанским».

Студенты шутили: «Старый Вольф рад носить русского медведя на тарелке...» Сначала действительно было так. Но однажды, приставив к носу Михайла указательный перст, Вольф спросил:

— Какие первые слова первого псалма?

— «Блажен муж...» — ответил тот, недоумевая.

— А первые слова второго псалма?

— «...векую шаташася...»

— Вот!.. — многозначительно закончил Вольф.

Слава профессора гремела далеко, в Марбург скоплялось много молодежи. Жили без родительского надзора. Пирушки, попойки, драки были за обычай. Наш Михайлушко после московского монастыря, питерских казарм присвоился к молодецкому веселью с полным удовольствием.

На пирушках Михайло имел чин Бахуса, в венке из плюща восседал на винной или пивной бочке. Карлы, Гансы, Фрицы венчали «Бахуса», пели и пили, потом убирались восвояси, а трактирщик ставил вино в счет осовелого «Бахуса».

Если попервости Михайло стеснялся товарищей-немчиков, то теперь и в лектории и в лаборатории сыпал им плюхи и подзатыльники: ничего, что он один, а их сотня.

Этим методом старался подкрепить правильность своих научных доводов.

Стесняясь своих могучих плеч и широких ладоней, понутив голову, стоит наш детина перед Вольфом и оправдывается:

— Вы сами, господин профессор, одобрили мою формулировку. А Карл оспаривает... Я лично для него с пером в руках с начала до конца проделал выкладки и раз и два... А он не слушает... Я и ткнул его мордой разика два в тетрадь...

В науках Михайло был первый, да и в проказах не последний. Шуточки шутил не горазды: как-то в праздник, в базарный день, выполз он из-под церкви на площадь, накрывшись гробовою крышкой... Народишко в реку начал бросаться...

Вся затея оказалась ломоносовская. Но консультировал целый факультет.

Иногда наш прокурат вспоминал отца, родину... Тогда шел в тихий домик ратмана Цильха. Старик, ежели не заседал в ратуше, клевал носом в кресле над библией. Дочка Лизхен вязала, шила, гладила, крахмалила... Михайлушко помолчит, спросит:

— Для чего гладите вы это белое, столь нарядное платье?

— Я глажу это нарядное платье для того, чтобы надеть в воскресенье, если к нам придет в гости господин Ломоносов. Но я выгладила еще много маленьких белых платочков.

— Для чего гладите многие белые платочки?

— Я утираю ими слезы радости, когда слышу об успехах господина Ломоносова в науках, и плачу от горя, когда слышу о его поведении...

Вольф писал:

«Я любил видеть в лектории этот высокий лоб, этот взгляд, сияющий разумом. Но, ах! Как часто этот лоб украшается зловещею шишкой и фонарь под глазом светит ярче «сияния ума»... Царственный друг мой, император Петр Первый, успокаивая мою тревогу относительно количества вина, употребляемого его величеством зараз, говорил: «Пьян да умен — два угодыя в нем!» Увы! Вижу справедливость сего изречения на русском моем ученике. А в немецких буршах я многое понял, одного не понимаю: молодость — это крылья; юность — это боевой конь! Зачем же этому естественному скакуну эта презренная плеть, этот рабский кнут, это проклятое вино? У тех, кто пьет, впустую уходит прирожденный пафос и творческая мысль не переходит в дело... Впрочем, моего русского ученика пьяным я не видал. Хитрая бестия!

...Диссертации свои сдает ранее сроков. Они блещут творческим проникновением в предмет. Недавно он затеял ученый спор с самим Гагеном об атмосферных осадках. Ломоносов — северный помор, и умозаключения его о плавающих айсбергах прелюбопытны!..»

Ломоносов также отдавал должное этому своему учителю: «...любовь мою к физике и математике переносу я на Вольфа и Эйлера. Это люди отменитые, а не по ихнему немецкому ранжиру поступают. Во студенчестве я от Вольфа всегдашнее снисхождение и добро видал. Немцы любят науку засолить да завялить, и солониною без нужды кормят старого и малого. У Вольфа малые сии едят молоко...»

Этим свойством истинного педагога — уметь преподнести знание не в виде сухарей, дерущих рот, а в виде... «млека и меда», то есть сделать предмет живым и интересным, — этим свойством в высшей степени одарен был сам Ломоносов — «отец наук российских»...

В Марбург Ломоносов заехал по пути, да и прогостил три года. Кроме точных наук, кроме языков и литературы штудировал он здесь новейшую философию.

Литературу, прозу и поэзию, Ломоносов любил не как развлечение. Он испытывал и исследовал все, о чем горела душа.

Вот он приехал во Фрейберг учиться горному делу. Из металлургической лаборатории его палкой не выгонишь и пряником не выманишь. Однако в это же время особенно серьезно, внимательно и плодотворно работает он над теорией русского стихосложения.

Оценив изящество и звучность стиха французского и немецкого, Ломоносов страстно принялся думать, в какой же склад и лад лучше и глаже укладывается русская поэтическая речь?.. Уже было ясно, что латинские и польские вирши, которым доселе подражали русские стихотворцы, не могут оставаться образцами.

Работой над стихом Ломоносов начал одно из великих дел своей жизни — преобразование русского литературного языка. Как раз в это время Россия взяла у турок город Хотин, и Ломоносов послал в Петербург стихи в новом вкусе: «Ода на взятие Хотина». Ода понравилась. Ее поднесли ко двору. Стали переписывать ранние, еще московские стихи поэта, вроде:

Услышали мухи  
Медовые духи,  
Прилетевши, сели,  
В радости запели.  
Едва стали ясти,  
Попали в напасти,  
Увязали бо ноги.  
Ах, плачут убоги:  
Меду полизали,  
А сами пропали.

Надо сравнить эти стихи со стихами Симеона Полоцкого, которые помещались в азбуке:

Древний веждеству образ даяху,  
зрящую в нощи сову писааху.  
Якоже бо она во тьме прозревает,  
так и вежда в делех правды знает.

То есть: «Древние люди изображали знание-мудрость в виде совы. Так же, как сова видит ночью, образованный знает суть вещей».

Обыкновенно бывает так: кто посвятил себя поэзии или живописи, тот равнодушен к математике, к физике. Но талант Ломоносова был всеобъемлющ. Вдохновенно любя стихи и поэзию, едва ли не с большим волнением слушал он лекции Генкеля о богатствах земных недр. Мысленному взору юноши представлялись сокровища Урала и Сибири раскрытыми, явленными...

Первое время у профессора Генкеля и студента Ломоносова отношения были мирные. Но вот этот студент пишет приятелю в Россию: «В Спасских школах почитали мы скаредом келаря Варнаву. Поглядел бы ты немецкий обиход! Генкель свечу лучше мышам скормит, нежели зажжет не для дела. Общая площадь заплат на камзоле превышает общую площадь целого места. От поставца с серебром и порцелином ключ девять годов утеряли. Тому рады и едят из оловянных торелей троеденную кашу. Мягкого хлеба вкуса не ведают, доедают вчерашний».

Начались неприятности. Дело в том, что в Марбурге Ломоносов наделал долгов. Учитывая воинственный нрав русского юноши и тяжесть его десницы, марбургские трактирщики помалкивали до времени. Но лишь только Михайло Ломоносов сменил резиденцию, к Вольфу посыпались счета: «Под заглавием студента Ломоносова выпито бочонков столько-то...» Вольф отправил счета в Петербург. Академия оплатила, но во Фрейбергский университет была дана жесткая инструкция насчет выдачи Ломоносову казенного пособия. Ставилось в известность, что долгов никто платить не будет. Для нашего добра молодца настал великий пост. В инструкцию из Петербурга он мало верил, взвалил всю вину на скаредность Генкеля: «Как жил я у Генкеля в столе, и преискурант он мне ставил, что двинский плотовщик хозяину:

Сел паром на мели — три рубли,  
сняли паром с мели — три рубли,  
попили, поели — три рубли.  
Итого: тридцать три рубли!»

Когда студенты учиняли дебош, Генкель считал зачинщиком Ломоносова. Однажды обвинил даже в покушении на жизнь своего сына. Михайло возмущается:

«Кайафа (Генкель) сказывает ябеду, будто се я ево сына топил. Я не топить, я носил ево крестить для того, что католицкое обливание почитаю недовольным. И я Генкелева Яшку трижды благочестно сгрузил в реку. И то ему, Яшке, на пользу. Кряду прочухался и стрелой от меня полетел. А к купели я его, эдакова пьяную тушу, на себе нес, сам будучи худ на ногах...»

Но в конце концов на чужой стороне растерял Михайлушко свою веселость, готовность к шуткам и проказам. Нотка горечи слышится в его письмах:

«Заместо беспристрастного ученого колоковия на дыбу меня Кайафа тянет. Туды вопросы закидывает, где и самому не достать. Битый час гоняет, и я ни в чем не плошаю, ответ пушаю со смелостию. Токмо пот по спине, по жолобу бегит в башмаки... Ажно я на Генкелеву доуку плюю. Я в товарищах злорадство примечаю и обижусь до слез...»

Давно ли кругом виделись берега садовые, реки медовые? А наяву оказалось, что чужедальня сторонюшка тоскою посеяна, слезами полита, горем огорожена... Всякая немецкая щепиночка торчком встала, всякой угол толкнуть норовит. Опостылела Германия, и — не стерпела душа, на простор пошла. Не спросившись, не сказавшись, не глядя на зиму, пошел Михайло Васильевич в город Лейпциг, к российскому консулу, просить об отправке на родину. Оказалось: консул отбыл в Кассель. Михайло притопал в Кассель: консул не бывал, и не ждут, и не слышали...

Где деться?.. Деньжонками обнищал, платьишком обносился... И пришло на мысль, что в Марбурге жил не хуже людей. Вспомнил старого Цильха и Лизхен... и сердце согрелось: «Вот кто меня жалеет...» Явился в Марбург, как майский день. Оказалось, Лизхен плакала не над горсточкой — над пригоршней, — у нее умер отец. Михайло Васильевич осушил слезы.

— Лиза, пошла бы ты за меня?

— Кроме тебя, у меня никого не осталось... Но «князь первобрачной» вскоре сказал своей «первобрачной княгине»:

— Лизхен, вот мы пообещались жить вместе и умереть вместе, но я в Германии гнезда вить не буду. Я в России родился, там и пригодился. Сплаваю в Амстердам. Там консул природный россиянин. Он меня отправит в Петербург.

К весне Рейном-рекою управился Ломоносов до Амстердама. Но природный Россиянин граф Головкин даже не принял бедно одетого студента. Ломоносов являл свои аттестаты, граф был глух и нем. Не взвеселили и архангельские поморы, стоявшие кораблями в порту. Они всячески отсоветовали являться в академию без вызова.

Земляки от Амстердама плыли в Питер. Повезли с собой и бумагу Ломоносова о вызове. А Васильевич опять потопал в Марбург, ждать...

Чтобы убавить дорогу, пошел через Пруссию. Тут едва убежал великой беды: прусский король объявил поголовный набор молодежи. Вербовщики гоняли по всем дорогам. Михайло и нарвался на них. Пруссаки похвалили рост и поступь молодецкую, поднесли чару зелена вина и поздравили с чином гвардейца его величества прусского короля.

— Я прусскому королю не подвержен!

— А что с тобой разговаривать! Надеть ему браслеты!

В кандалах привезли в крепость. Ломоносов три дня хвалил Пруссию и казармы. Его расковали, но ход из крепости был через караульню. Ломоносов сменял сапоги на вино, напоил часовых и, когда они заползали по полу и задрались, выпал оконцем из крепости и побежал. Но уже обутрело. С крепости выстрелили. Побег был обнаружен. Беглец завалился в канаву под мост. Таился тут весь день. Четыре раза погоня проезжала над его головой: под мост заглянуть не сдумали.

В потемки прынул в лес, не хуже зайца. Ночью перебрался через прусскую границу. И на следующий день безопасно и безбедно шествовал вестфальскою землею, не подвластной прусским королям.

Лизхен только что наладилась по крайней мере год реветь, ожидая свидания с милым другом, а он, что заря, у оконца стоит:

— Ох, Лиза! Ходил ни по что, принес ничего! В капкане еще был у прусского короля... А из Питера велят ждать вызова...

— Жди! Сиди! Я хоть месяц, хоть неделку с тобой еще покрасуюсь!

И... год прожил в Марбурге, занимаясь науками. Не вспомнил никаких досад и Вольф. Всю зиму ходил к нему талантливый ученик: начал переводить на русский язык капитальный труд Вольфов — «Физику».

Весною был получен вызов из России, и на первых кораблях, по распуте, поплыл счастливец в Россию. Жена опять осталась ждать.

— Была бы я алмазная искра, унес бы ты меня в своем перстне!

— Лиза! Я поехал вить свое гнездо. Зимовать и ты ко мне прилетишь!

Последнюю ночь корабельного плавания не спал, в каюту не заходил. Так и стоял, так и ждал, скоро ли-де всплывет русский берег.

«...Но на рассвете вздремнул и увидел сон необыкновенный.

Вижу, будто мой корабль огибает остров Моржовец, что в горле Белого моря. Вхожу в губу Глухую. Падает снег. На берегу карбас, в нем, под снежной пеленою, человеческое тело. Я рукою охитил снег с лица и... узнаю отца. Он испытно глядит на меня и вопрошает: «Дитяtko, ты меня на страшном суде не будешь уличать, что я тебе встать на ноги не пособил?»

И я будто отвечаю ему:

— Нет, татушка, не буду. А ты на меня вечному судии не явишь, что я тебя при старости лет бросил?

— Нету твоей вины, дитяtko!

И тут его накрыла метель. Это побережье Моржовца мы не раз навещали с отцом ради промысла. В Петербурге я поспешил разыскать своих земляков-двинян, весенних гостей столицы. Они уже стояли кораблями на Неве. Здесь встретило меня известие, что отцов корабль не вернулся прошлой осенью с промысла. Неведомо и то: на каких берегах погиб... Я, – рассказывает далее Ломоносов, – немедля отправил на родину депешу, дабы искали в Глухой моржовецкой губе. Послал и деньги, потребные к расходу по сей экспедиции. Снаряженный из Архангельска гальот нашел останки отца моего в указанном мною месте. Понеже грунт явился кремнист, накрыли кости бревенчатым обрубцем».

Хотя при царице Елизавете немецкое засилье ослабло, Российской Академии наук продолжал держать в своих цепких руках советник Шумахер. Он поддерживал профессоров-немцев, и один из русских членов Академии, сподвижник Петра, Карпов, жаловался Ломоносову:

— Накрыл нас горстью Шумахер. Жужжим, да бьемся!

Немцы поглядывали на Ломоносова с любопытством: «Этот учился в Германии и хватался немецкого духа».

Ломоносову дали чин и должность при Академии. На заседании он говорил:

— Вот я расправлю крылья свои на родине. Академия моя, ты даешь мне крылья! Изволяю до последнего вздоха послужить отчизне разумом и знаньями моими. Академия моя! Блаженна ты, ежели во мраке невежества вознесешь светоч разума, ежели в сердцах россиян возгнетишь любовь к наукам!..

Шумахер с компанией стукали табакерками, чихали, здоровствовались, казали оратору кукиши под столом. Шумахер говорил:

— На ретиву лошадку не кнут, а вожжи!..

Академия была основана для того, чтобы показать народу значение и важность наук, доказать пользу просвещения.

Ломоносов с малых лет бился и изнемогал, чтобы отцу и веем старшим доказать, что науки нужны и полезны... Теперь Ломоносов член Академии наук. Теперь не отцу, не мачехе, а всему народу русскому он должен и может показать важность, надобность образования...

Ломоносов писал: «Весь свой век я науку любил бескорыстно. Блаженство мне в ней единой полагал... А люди глядят, каков от его наук доход, во что одет ученый, что ест да что пьет?.. А глаза попялят да рукой махнут: «Решетом в воде звезды ловит». И ребятам нашим суму наденет наука-та!»

Для России было счастьем, что столь деятельный, столь гениальный ум оказался направлен в сторону наук, наиболее нужных в то время стране и народу.

Отец, бывало, доказывал сыну:

— Твоя наука от житья-бытья отводит. Моя наука что ложка у обеда, что игла у портного. Хожу в море и промышляю, руководствуясь собственным опытом и вековыми дедовскими приметами.

Сын устраивал лабораторию, отправлял научные экспедиции и тем как бы с отцом беседовал, отцу доказывал:

— Вот, татенька, и я в моем деле опыты и приметы применяю. Ежели поэзия и философия — суть соловьи в небе, то физика моя и химия — это синица в руках... Еще и то ведай, татенька, что и твой опыт, морской и промысловый, во свою многополезную сокровищницу наука прибрала.

Скоро немцы горько спокаялись, что «неистойвой особе поручили важную миссию». Думали: сядут да поедут, а вышло: ты впрягать, а она лягать!.. Бывало, Шумахер сам-друг с зятем Таубертом дела вершит. А Ломоносов всякого сословия к заседанию назовет да наберет. К президенту ездит без доклада канцелярии. А сам великая ябеда: тихи-де у нас наряды, не скоры у нас повороты. Канцелярия-де по году всяким делом волочит.

Ломоносов действительно шумел: еще батюшка Петр Алексеевич приказывал послать в Сибирь по минералы, а Шумахер тем приказом дверь оклеил... К делам академиком не допускает, а сам тихо едет, что горшки везет: «Тихой воз будет на горе!»

«Часы наши считанные, приедешь в канцелярию с делом неотложным. Шумахер сидит боком; заместо ответа вынет свою табакерку, постучит по табакерке, откроет табакерку, держит табак щепотью, не нося еще к носу. Вдруг нюхнет обеими ноздрями. Закроет табакерку, утирается, чихает, сморкается. Ты с огнем, а он с водою... а се и своя братия-академики тужат на меня: не суй палку в подворотню, не дразни собак! Что ты из кожи рвешься?! «Жалованьишко нам казна по году не платит, изданьев-де лежалых у нас и мыши не едят, разбирайте да продавайте...»

С приходом Ломоносова стали чаще заседанья Академии. Шумахер презрительно кривил губы: «Не поспеет кошка умыться, у Ломоносова прожект готов... На Белом-де море железо и серебро, соль и слюда. А Яик-де река золотая. А Кемь-де река жемчужная. Наш Миллер его как шапкой накрыл:

«Учителю премудре, учи нас! Будто се мы того и не слыхали. Батюшка Петр Алексеевич не тебе, мужику, чета, а недалеко уехал, понеже народ — смерд, непросвещенной грубиян!»

И Ломоносов по столу кулаком грянул, ажно скатерть в трубу завилась:

— Немцы с Бироном благоцветущие всходы Петровы копытами своими притоптали. Кабы-де не дочь Петрова, немец бы нас съел!..

Вот и завелась у Михайла Васильевича с немцами дружба: схватятся, дак колом не развратишь...

Немцы долбили, как дятлы, что русские Иваны только на печи лежать горазды. Не поспел Ломоносов разослать по Уралу требованье от лица Академии о присылке на образец минералов, горных пород, — отовсюду откликнулись голоса любознательные. Призывные ломоносовские грамотки, мол, как весенние листочки. Знать, дело Петрово не умерло! В одно лето Академия собрала знатную коллекцию минералов, уральские домодельные старатели начали ссылаться с Академией письмами.

При университете Ломоносов устроил физическую и химическую лаборатории. Не было приборов, не было посуды для опытов по химии, физике. Ломоносов исхлопотал и учредил стекольный завод, где работали стекло про всякую домашнюю потребу. При заводе была особая мастерская, где Михайло Васильевич сам выдувал колбы и шлифовал оптическое стекло.

С помощью изобретенных им приборов для наблюдений за звездным небом Ломоносов установил, например, что планета Венера окружена слоем воздуха, имеет атмосферу.

При своем доме ученый устроил кабинет для электрических опытов. Эту силу природы тогда впервые начали серьезно изучать. Исследованиям Ломоносова принадлежит одно из первых мест. Михайла Васильевича однажды чуть не убило грозвым разрядом. Своему покровителю графу Шувалову он пишет:

«За диво почтите, ваше сиятельство, мое письмо. Жив остался дивом, а товарищ мой Рихман тою же грозвою силою убит. У меня жена зашумела, что-де шти остынут, и я пошел обедать... Рихман умер прекрасною смертью за науку, на своем посту.

Ходатайствую перед государыней о помощи семье Рихмана, чтобы и сын его вырос таким же наук любителем, каков был отец...»

Изготавливая цветное стекло на заводе, Ломоносов вспомнил виденные им на стенах древних киевских церквей прекрасные мозаичные иконы. Из мелкого граненого стекла на мастике древние художники составляли целые картины. Мозаика может простоять тысячи лет... Ломоносов учреждает мозаичную мастерскую. Лучшая из мозаичных его работ — «Полтавская баталия», картина из цветного стекла на медном листе, во всю стену. Рисунок и колорит ломоносовских мозаик доказывают, что великий ученый был и художником с большим вкусом.

Живой творческий ум и ученая любознательность Ломоносова не имели границ. По монастырским книгохранилищам разыскивал он древнерусские летописи. По ним составили «Историю Российскую». За этой работой следил Шувалов. Он ценил Ломоносова больше всего как поэта, который «чистый слог стихов и прозы ввел в Россию». Ревниво и капризно требовал стихов и гишторий поэтических: «Брось, брось, Михайло Васильевич, свои стеклянные дудки и блюдки, пусть их перебивает Дарья. Плюнь в свою химическую кухню. Твое место Парнас, а орудие — лира...»

Поэт отвечал: «Великие люди, Невтон и Франклин, Эйлер и Вольф, тем дышут, что вы кухонным делом величать изволите. Сказывают: делу время, потехе час. Этот час иной посидит за картами, иной за бильярдом. Мне мой потешной час да позволено будет провести в моей кухне. С тем живу и умираю...»

Сильная рука Шувалова по возможности отодвигала от Ломоносова козни завистников. Ученому было пожаловано поместье. В петербургском его доме жена Лизавета Генриховна с дочкой учинили весь обиход на русский образец. Но хозяин мало бывал дома. Под его команду был отдан университет с гимназией, и «семеро капралов над одним рядовым» заменились иною картиной. Ломоносов был как матка в улье. Памятуя трудности, с какими ему пришлось добывать образование, Михайло Васильевич много хлопотал о допущении в университет крестьян. Но Шумахер с компанией ошетинились, как звери.

— Нам не десять Ломоносовых надобно, довольно одного! Великую я прошибку сделал в своей политике, — кричал Шумахер, — что допустил в Академию Ломоносова!

Горячность, страстность, вспыльчивость, готовность ежечасно умереть за свою правду, праведный гнев, движимый на всех, кто мешает и не радеет об умножении наук в России, — эти свойства Ломоносова и врагов ему создавали и ярость их поддерживали.

— Мужик! Грубиян! Колотило деревенское! — дразнил Михайла Васильевича из-за угла спорщик его Тредьяковский.

Однако гений архангельского мужика сиял столь светло, что загородить этот свет уже было не под силу никому.

В области литературы Ломоносов знаменит не только торжественными одами, стихами. Он явился первым преобразователем русского литературного языка.

До Ломоносова приняты были в литературе формы церковнославянской речи. Писатель подбирал слова особливые, книжно-старинные, и склонял и спрягал эти словеса на церковнославянский манер.

— «Прчтоша, написаша», «беззаконновахом, неправдовахом». Вместо «еще, если, тотчас» писали «паки, аще, абие». Письменная речь пестрела славянизмами: «Иже, якоже, понеже...»

Говорили русские люди тем же языком, что и мы говорим, но употреблять «простой» язык в сочинении книжном считалось невежеством и необразованностью.

Ломоносов отделил, разграничил русский язык от церковнославянского. Составили первую грамматику языка русского. Народный русский язык получил достойную честь и самостоятельность. Но преобразователь все же советует поэтам учиться красотам и важности церковных книг.

Поэты наши вплоть до Пушкина писали: дочь, власы, брада, праг (порог), млеко, золото, младый, драгий... По заветам ломоносовского «высокого штиля» поэты наши долго конфузились слов «низких», уличных, простонародных. Оберегая от низкости поэзию, ученый наш для прозы разрешает — «на щи и на квас» — язык народный.

Ломоносов восхищался явлениями природы как поэт и вникал в них как ученый. Исследовал грозы и бури, звезды и северное сиянье и попутно слагал о том же торжественные песни. Такова возвышенная ода «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния»:

Лице свое скрывает день,  
Поля покрыла мрачна ночь,  
Взошла на горы черна тень,  
Лучи от нас склонились прочь.  
Открылась бездна, звезд полна;  
Звездам числа нет, бездне дна!

Как первостатейному поэту, Михайлу Васильевичу поручено было составление поздравительных стихов «на случаи знатных происшествий придворных и всенародных». Ко двору императрицы Елизаветы, затем Екатерины постоянно требовались «именинные», «новорожденные», «салфет»-стихи. Великий ученый бросал свою лабораторию, прерывал лекции и шел сочинять куплеты. Он шутил над собой:

У физики с химией  
Пот проливаю.  
А за вирши, за басни  
Хвалы пожиною...

Однажды государыня пригласила Михайла Васильевича ко двору с докладом о последних работах. В кружке придворных дам было сообщено о причинах бурь и ветров. По докладу ученый осведомился, сумел ли он быть понятным. Императрица обращается к фрейлине Голицыной:

— Дарьюшка, ты уразумела ли?

— Чего не понять, — отвечает Голицына. — Господь батюшка чем хочет, тем и шумит...

— То так, — продолжала Елизавета, — а у меня до тебя, господин советник, дело: сказывают по секрету, что живописец Растреллий ко дню нашего тезоименитства доспевает альбум на красках... Птички, фортуны, капидоны. И тебе бы, Михайло Васильевич, в тот альбум сочинить гратуляцион. Против тебя никому не потрафить!..

С Шуваловым Елизавета говорила:

— Какова Академия-та! Слышь-ка: Шумахер с Ломоносовым в два венника метут?

— Жалуется наш поэт: я-де с огнем, Шумахер с водою.

— А ты скажи Михайле-то Васильевичу: «Не бойся-де, огонь, кочерги!»

В правленье Бирона немцы повадились стращать русских людей. Наш Михайло Васильевич сам пугнул их до смертной икоты.

Семье Ломоносовых неустанно досаждал их сосед Штурм, приятель Шумахера. Лизавета Генриховна разводила цветы, любила курочек, котятков. Штурм лил помой в цветник, давил у Лизхен кур и кошек. Михайлу Васильевичу все некогда было заняться этим делом. Разве встретятся со Штурмом, приставит ему кулак к носу или тряхнет за шиворот. Но однажды чаша праведного гнева переполнилась. Вот что доносил Штурм:

«Торжества моего день рождений омрачил злодеяния Ломоносова. Двадцать немецких господ и дамен, моих гостей, пошел воспевать невинный мадригал в Ломоносов палисад. Внезапно на головы воспеваемых господ и дамен из окна Ломоносов квартир упадет пареных реп, кислых капуст, досок и бревна. Я и мой зупруга сделали колокольный звон на двери, но он вырвался с отломленным перилом и вопиюще: “Хорошо медведя из окна дразнить!” — гонял немецкий господ по улице, едва успел гостеприимная дверь захлопнуть всех моего дома. Но два даментуалет похитил на ходу и утерял клейнод на

переду. Я и моя зупруга маялись на балкон поливать его водами и случайно может быть ронялись цветочными горшками. Но Ломоносов вынес дверь на крюк и сражался в наших комнат. Стукал своим снастием двадесять господ. И дамен выскакнили окнами и везде кричали караулы! Дондеже явился зольдатен гарнизон!!»

Известно, что во время этого сражения Михайло Васильевич сам был изрядно ранен, сидел на гауптвахте и ходил в университет с повязкой на лбу.

В Питере сложили песню:

Немец гут,  
А русский тут!

А дочь Петрова перед иностранными гостями хвалилась, что-де «русский немцу задал перцу!..».

— Вам смех, а мне смерть! – говорил Михайло Васильевич друзьям. Он с горя все сидит, стаканчиком в столешницу колотит... — Вам смешки, мне перевертышки: историки Миллер и Шлецер, состоя на русской службе, тасуют, что карты, свои выборки и выметки из наших летописей, сшивают на Россию пашквиль и печатают за границей. Шлецер косоротится: какой Ломоносов историк, токмо-де похвальная восписует, в свою пользу насаживает... Нет! Сердце, любящее родину, никогда не солжет! Я сын отчизны, а они нахлебники! Повадились думать: русак дурак и век будет в чину учимых... Нет! Придет и наш черед садиться наперед!..

Друзья говорили:

— Михайло Васильевич, в твоём лице русский народ вперед пошел. Академия, что квашня на холоду, стояла. Тебя Бог послал, будто дрожжи добрые. Тесто науки российской кряду поднялося. Ломоносовской закваски хватит Академии на внуков и на правнуков.

По случаю десятилетия царствования Елизаветы Академия готовила торжественную ассамблею. Ждали государыню. Шумахер с канцелярией чуть в уме не повредились: кому поручить парадную речь?

Шумахер говорил:

— От президента сказано: Ломоносов у нас величав и красноречив, а там судите сами... А как судить самим? Мы от Ломоносова так в обморок и падаем...

Если возможно, да минет нас чаша сия!.. От оратора требуется картинный вид и звонкоглаголение. Вот кандидат вам — Гаген. Видом есть как лев, но голос как комар и муха... Кандидат фон Шульц: голосит, как стрельба из пушки, но внешний вид как маленький зобачка, до старости щенки, из подворотни... Профессор Глянце, егда говорит, машет руками, сучит ногами и кланяется в пояс... Советник Минервин на масляной публично плясал вприсядку и лазил на мачту за кренделем... Выходит, что Ломоносов один имеет фортуна во всем: и ростом, и дородством, и постатью... «С ужином раженные огнем не обедаешь!»

— «Суженого, ряженого конем не объедешь», – уныло поправляют канцелярские писцы.

Одним из самых славных деяний Ломоносова было основание и устройство университета в Москве.

«Я сие великое училище задумал и обдумал, охлопотал, выносил его и породил; горячими слезами воспитал и жить пустил, и за гробом стану о нем бога молить...»

Ломоносов и план чертил, и кирпич сортовал, и за кладкой следил, создал образцовый университетский устав, излюбовал и избрал профессоров, экзаменовал студентов.

Для подготовки юношества устроил две гимназии.

Шувалов помогал здесь особенно ревностно и ходатайством, и покровительством, и безотказной денежной казной.

Всякий год в июне месяце у Ломоносовых бывали морские гости — земляки из Архангельска. Они привозили гостинцы: рыбу, житные колобки, ягоду морошку. Однажды привезли и племянника. Сестра писала: «Научи, милый брателко, на дела на добрые, на речь на умильную, на походку постатную...»

Брат отвечал сестре: «Государыня моя Мария Васильевна, здравствуй на множество лет с мужем и детьми! Мишенька приехал в добром здоровье, и то мне на него добре радостно, что научен читать хорошо, и пишет для ребенка нарочито. Сделали ему кафтан василькового сукна, петербургского шитья. Волосы полюбил убирать по-нашему и пудрить, и кланяется пышно по-французски. На Колмогорах его бы теперь и не узнали. Удивительно, что Мишенька и виду не показал, чтобы тосковать или плакать. Тотчас к нам и к нашему кушанью привык, как век у нас жил. При Академии наук есть гимназия, состоящая под моею командою. Здесь Мишенька будет жить и учиться. По воскресным дням и праздникам будет у меня гостить с ночевкою. От меня приказано учить его латинскому языку, арифметике, письму и танцам. Будь спокойна, сестрица, я стараюсь о нем, как добрый дядя и отец крестный. Хозяйка моя всплакнула не раз, каково-де тебе было с детищем расстаться. Так же и дочь моя нянчится с малым и жалеет его. Не сомневайся, сестра, что сын твой через науки счастлив будет».

Этот Мишенька Головин пошел по стопам дяди. Был впоследствии математиком и физиком, членом Академии наук.

Была в гостях у Ломоносова и императрица Екатерина Вторая. В знак благоволения к наукам приказывала хозяину ходить и сидеть по правую руку около себя.

Михайло Васильевич не дожил до старости. Весною 1765 года он простудился и 4 апреля умер.

Перед смертью говорил другу своему Штелину:

— Я пожил, потерпел и умираю спокойно. Жалею только, что не мог завершить все, что делал для родины, для блага науки в России, для славы Академии. Не тужу о смерти, дети отечества вспомнят обо мне и пожалеют...

Удивительная была жизнь Ломоносова, прекрасно дело его жизни, незабываемы слова к русскому юношеству:

О вы, которых ожидает  
Отечество от недр своих,  
И видеть таковых желает,  
Каких зовет от стран чужих,  
О, ваши дни благословенны!

Дерзайте, ныне ободренны,  
Раченьем вашим показать,  
Что может собственных Платонов  
И быстрых разумом Невтонов  
Российская земля рождать!